



Герман Гессе

Герман Гессе

Кнульп

Демиан

Последнее лето Клингзора

Душа ребенка

Клейн и Вагнер

Сиддхартха

Библиотека классики (АСТ)

Герман Гессе

**Кнульп. Демиан. Последнее
лето Клингзора. Душа ребенка.
Клейн и Вагнер. Сиддхартха**

«Издательство АСТ»

1915, 1919, 1922

УДК 821.112.2-82
ББК 84(4Гем)я44

Гессе Г.

Кнульп. Демиан. Последнее лето Клингзора. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Сиддхартха / Г. Гессе — «Издательство АСТ», 1915, 1919, 1922 — (Библиотека классики (АСТ))

ISBN 978-5-17-136642-1

В этот сборник вошли несколько знаковых произведений, которые оказали огромное влияние на дальнейшее творчество Гессе и сформировали темы будущего *magnum opus* – «Игры в бисер». В повести «Кнульп» великий мастер рассказывает историю истинного мечтателя и вечного странника. Он человек-загадка без корней и привязанностей; свободная душа, существующая вне установленного порядка вещей. «Демиан» – философско-мистический, во многом автобиографичный роман о взрослении и становлении юноши, который открывает в себе глубинное, темное «я». В этом ему помогает таинственный друг Демиан – носитель «печати Каина», не то дьявол, не то загадочное божество, не то просто порождение воображения героя. «Сиддхартха» – жемчужина прозы Гессе, на страницах которой нашли свое отражение впечатления писателя от поездки в Индию, а также его размышления об одной из наиболее глубоких и мудрых религий человечества – буддизме. В издание также включены философские повести «Последнее лето Клингзора», «Душа ребенка», «Клейн и Вагнер».

УДК 821.112.2-82
ББК 84(4Гем)я44

ISBN 978-5-17-136642-1

© Гессе Г., 1915, 1919, 1922

© Издательство АСТ, 1915, 1919, 1922

Содержание

Кнульп	7
Предвешней порою	7
Мое воспоминание о Кнульпе	25
Конец	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Герман Гессе
Кнульп
Демиан
Последнее лето Клингзора
Душа ребенка
Клейн и Вагнер
Сиддхартха

© Suhrkamp Verlag Berlin, 2001

© Hermann Hesse, 1915, 1919, 1922

© Перевод. С. Апт, наследники, 2021

© Перевод. Н. Федорова, 2019, 2021

© Перевод стихов. Э. Венгерова, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

Кнульп

Предвешней порою

Как-то раз в начале девяностых годов нашему другу Кнульпу пришлось несколько недель провести в больнице, вышел он оттуда в середине февраля, погода стояла премерзкая, так что уже за считанные дни пешего странствия у него опять начался озноб и он волей-неволей стал подумывать о пристанище. На нехватку друзей Кнульп пожаловаться не мог и почти в каждом из окрестных городков легко нашел бы гостеприимный кров. Но в этом смысле он был на удивление самолюбив, до такой степени, что, принимая помощь от друга, словно бы оказывал ему большую честь.

На сей раз он вспомнил лехштеттенского кожевника Эмиля Ротфуса и вечером, в дождь и ветер, постучал в уже запертую дверь его дома. Кожевник приоткрыл ставню на верхнем этаже и крикнул в темный переулочек:

– Кто там? Что за спешка, неужто до утра нельзя подождать?

Услыхав голос старого друга, Кнульп, невзирая на усталость, мигом взбодрился. А поскольку на память пришел стишок, сложенный много лет назад, когда он целый месяц странствовал за компанию с Эмилем Ротфусом, он сей же час пропел:

Сидит усталый путник
В трактире за столом,
Нетрудно догадаться,
То блудный сын пришел.

Кожевник немедля широко распахнул ставню и высунулся из окна.

– Кнульп! Нешто вправду ты, или мне померещилось?

– Я! – отозвался Кнульп. – Может, все-таки на крыльцо выйдешь? Или так и будем перекликаться через окно?

С веселой поспешностью Ротфус спустился вниз, отворил дверь и маленькой коптящей керосиновой лампой осветил пришельцу в лицо, так что тот невольно зажмурился.

– Заходи же скорей! – взволнованно воскликнул кожевник и потянул друга в дом. – Рассказывать будешь потом. Тут кое-что осталось от ужина и постель тоже найдется. Господи, в такую канальскую погоду! Обувка-то у тебя хотя бы крепкая, а?

Он так и сыпал вопросами и дивился, а Кнульп тем временем подошел к полутемной лестнице, заботливо расправил подшитые тесьмой штанины и уверенно поднялся по ступенькам, хотя не бывал в этом доме уже четыре года. В верхнем коридоре, у дверей горницы, он на миг приостановился и за руку удержал кожевника, который приглашал его войти.

– Слушай, – прошептал он, – ты ведь теперь женат, да?

– Ясное дело, женат.

– То-то и оно... Видишь ли, жена твоя меня не знает и, чего доброго, не обрадуется. А мешать вам я не хочу.

– Да что ты такое говоришь! Мешать! – рассмеялся Ротфус, распахнул дверь и втолкнул Кнульпа с светлую комнату.

Над большим обеденным столом висела на трех цепочках внушительная керосиновая лампа, легкий табачный дымок витал в воздухе, тонкими струйками тянулся к горячему колпаку, вихрем взлетал вверх и исчезал. На столе лежали газета и свиной пузырь, полный курительного табаку, а с узкого диванчика у короткой стены вскочила молодая хозяйка, с несколько

наигранной и смущенной бодростью, будто ее только что разбудили и она не хочет этого показать. На секунду Кнульп как бы в растерянности зажмурился от яркого света, потом посмотрел в ее светло-серые глаза и с учтивым поклоном протянул руку.

– Вот, это она, – смеясь, сказал хозяин. – А это Кнульп, мой друг Кнульп, помнишь, мы о нем говорили. Разумеется, он у нас погостит, ночевать будет на кровати подмастерья. Она ведь пустует. Но перво-наперво мы все выпьем по стаканчику сидра, и Кнульпа надо накормить. У нас есть еще ливерная колбаса, верно?

Хозяйка поспешила вон из комнаты, Кнульп проводил ее взглядом.

– Все ж таки она немножко оробела, – тихо сказал он.

Ротфус, однако, с ним не согласился.

– Детей у вас пока нет? – спросил Кнульп.

Меж тем хозяйка вернулась, принесла на оловянной тарелке колбасу, поставила рядом хлебную досочку, посредине которой аккуратно, срезом вниз, лежала половина ржаного каравая, а по закругленному краю бежала затейливая резная надпись: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

– Знаешь, Лиз, о чем Кнульп только что меня спросил?

– Оставь! – запротестовал тот. И с улыбкой обратился к хозяйке: – Ах, сударыня, вы позволите?

Но Ротфус не унимался:

– Он спросил, есть ли у нас дети.

– Ну и что! – засмеялась она и опять убежала.

– Так у вас нет детей? – спросил Кнульп, когда она исчезла.

– Пока нет. Она не торопится, знаешь ли, и в первые годы так даже лучше. Да ты угощайся, приятного тебе аппетита!

Жена меж тем принесла серо-голубой фаянсовый кувшин с сидром, поставила на стол три стакана, наполнила их. Действовала она ловко, расторопно, и Кнульп, глядя на нее, улыбнулся.

– Твое здоровье, дружище! – вскричал хозяин и потянулся чокнуться с Кнульпом. Но тот галантно воскликнул:

– Прежде дамы. Ваше бесценное здоровье, сударыня! И твое здоровье, старина!

Они чокнулись и выпили, Ротфус, сияя от радости, подмигнул жене: заметила ли она, какие превосходные манеры у его друга. Она же, конечно, давно их заметила и сказала:

– Вот видишь, господин Кнульп учтивее тебя, знает, каков обычай.

– Ну что вы, – сказал гость, – каждый поступает так, как научен. Что же до манер, то вы, право, смущаете меня, сударыня. А до чего красиво вы накрыли на стол, будто в лучшем отеле!

– Ясное дело, – рассмеялся кожевник, – ведь она этому научена.

– Вот как, и где же? Ваш батюшка держит трактир?

– Нет, батюшка мой давно в могиле, я почитаю что и не знала его. Но несколько лет служила подавальщицей в «Быке», коли вам знакомо это заведение.

– В «Быке»? Раньше это был лучший постоялый двор в Лехштеттене, – похвалил Кнульп.

– И сейчас тоже. Верно, Эмиль? У нас проживали почти одни только коммивояжеры да туристы.

– Охотно верю, сударыня. Место, конечно, хоть куда и заработок отличный! Но собственный дом все-таки лучше, верно?

Он не спеша, с наслаждением намазал на хлеб мягкую колбасу, тщательно снятую шкурку положил на край тарелки и временами отпивал глоток доброго золотистого сидра. Хозяин с удовольствием и почтением следил, как аккуратно и легко его тонкие ухоженные руки совершают необходимые движения, да и хозяйка тоже наблюдала с одобрением.

– Однако ж вид у тебя неважнецкий, – немного погодя принялся укорять Кнульпа Эмиль Ротфус, и тот, хочешь не хочешь, признался, что недавно хворал и лежал в больнице. Правда,

о тягостных подробностях умолчал. Затем кожевник спросил, чем он теперь думает заняться, и от души предложил стол и кров на любой срок; Кнульп как раз этого и ожидал, как раз на это и рассчитывал, но словно бы стусевался, ушел от ответа, вскользь поблагодарил и отложил обсуждение этих дел на завтра.

– Об этом не поздно потолковать завтра или послезавтра, – как бы между прочим обронил он, – время, слава богу, терпит, во всяком случае, я побуду здесь еще немного.

Не любил Кнульп строить планы и давать обещания на долгий срок. И если свободно не располагал грядущим днем, то чувствовал себя не в своей тарелке.

– Коли я в самом деле задержусь на некоторое время, – помолчав, сказал он, – тебе надобно записать меня своим подмастерьем.

– Да ну тебя! – рассмеялся хозяин. – Ты – у меня в подмастерьях! Вдобавок ты ведь не кожевник.

– И что с того, неужели непонятно? Кожевенное дело меня совершенно не интересует, оно конечно, ремесло замечательное, но к работе у меня таланта нет. А вот моему дорожному паспорту будет польза, знаешь ли. Уж тогда я получу пособие по болезни.

– Можно на него поглядеть, на твой паспорт?

Кнульп слазил в нагрудный карман своего почти нового костюма и достал сей документ, который хранил в аккуратном клеенчатом футляре.

Кожевник осмотрел его и рассмеялся:

– Безупречно, как всегда! Ты будто только вчера утром уехал от маменьки.

Потом, изучив записи и печати, он с глубоким восхищением покачал головой:

– Да-а, вот порядок так порядок! Все у тебя должно быть в ажуре, иначе никак.

Надо сказать, Кнульп неукоснительно пекся о том, чтобы паспорт был в полном порядке. В своей безупречности сей документ являл собою прелестную фикцию или вымысел, и официально заверенные записи знаменовали сплошь славные вехи достойной и дельной жизни, в коей привлекала внимание лишь страсть к скитаниям – в форме весьма частой перемены мест. Засвидетельствованную в этом официальном паспорте жизнь Кнульп себе придумал и сотнями ухищрений продолжал вести это мнимое существование, нередко под угрозой разоблачения, ведь на самом деле он хотя и совершал не так чтобы много недозволенного, но был безработным бродягой, и жизнь его иначе как незаконной и презренной не назовешь. Конечно, вряд ли ему удалось бы столь успешно продолжать свою милую выдумку, не будь поголовно все жандармы настроены к нему благожелательно. По возможности, они оставляли в покое веселого, незаурядного человека, чье духовное превосходство, а порой и серьезность внушали им уважение. Приводов Кнульп почти не имел, в воровстве и попрошайничестве уличен не был, да и почтенных друзей у него повсюду хватало; вот его и пропускали, не трогали, примерно так позволяют жить в доме красивой кошке: всяк полагает, что снисходительно терпит ее, а она меж тем, не ведая забот, живет себе средь прилежных и озабоченных людей беспечно-светской, роскошно-барской и праздной жизнью.

– Не заявись я, вы бы, верно, давно десятый сон видели, – воскликнул Кнульп, забирая свои бумаги. Встал и вежливо поклонился хозяйке. – Идем, Ротфус, покажешь мне мою кровать.

Хозяин со свечою проводил его по узкой лестнице наверх, в мансарду, в комнатку подмастерья. Там у стены стояла пустая железная кровать, а рядом – деревянная, с матрасом и всем прочим.

– Грелку хочешь? – отечески спросил хозяин.

– Этого еще недоставало! – рассмеялся Кнульп. – Тебе, сударь мой, она, ясное дело, ни к чему, жenuшка-то у тебя вон какая прелестная.

– Я тебе так скажу, – с жаром отвечал Ротфус, – вот сейчас ты ляжешь в холодную постель подмастерья, в мансарде, порой ночуешь и в еще худшей, а иной раз вовсе никакой не имеешь,

поневоле спишь в сене. А вот у нашего брата и дом есть, и дело, и милая женушка. Знаешь, если б захотел, ты давно бы мог стать мастером.

Кнульп тем временем поспешно разделся и, зябко поеживаясь, улегся в холодную постель.

– Будешь продолжать? – спросил он. – Мне тут удобно, могу послушать.

– Я серьезно, Кнульп.

– Я тоже, Ротфус. Только не воображай, будто женитьба – твоё изобретение. Стало быть, покойной ночи!

На следующий день Кнульп вставать не стал. Он еще испытывал некоторую слабость, и в такую погоду вряд ли бы вышел из дому. Кожевника, который утром заглянул к нему, он попросил не тревожиться, оставить его в покое и только в обед принести наверх тарелку супа.

Так он целый день тихонько и убагодворенно лежал в сумеречной мансардной комнатке, чувствовал, как уходят озноб и дорожные тяготы, и с удовольствием предавался отрадному ощущению теплой защищенности. Слушал усердный стук дождя по крыше и ветер, который, предвещая оттепель, неугомонно и мягко налетал капризными порывами. Порой он на полчаса засыпал либо, пока было достаточно светло, читал что-нибудь из своей походной библиотеки; состояла она из листков, на которые он переписал себе кой-какие стихи и афоризмы, и небольшой пачки газетных вырезок. Было там и несколько картинок, их он тоже нашел в еженедельниках и вырезал. Двум из них он отдавал особое предпочтение, и оттого, что часто их доставал, выглядели они уже ветхими и потрепанными. Одна изображала актрису Элеонору Дузе¹, вторая – парусный корабль в открытом штормовом море. С отроческих лет Кнульп питал огромное пристрастие к Северу и к морю, не раз намеревался там побывать и однажды дошел аж до брауншвейгских земель. Но его, перелетную птицу, что вечно странствовала и нигде не могла задержаться надолго, диковинная боязливость и любовь к родимым местам вновь и вновь быстрыми переходами гнали обратно, на юг Германии. Возможно, вдобавок он терял беспечность, очутившись в краях чужого говора и чужих обычаев, где никто его не знал и где ему было трудно содержать в порядке свой легендарный дорожный паспорт.

В полуденный час кожевник принес ему суп и хлеб. Вошел на цыпочках и говорил испуганным шепотом, поскольку считал Кнульпа больным, сам-то со времен детских хворей никогда среди бела дня в постели не разлеживался. Кнульп чувствовал себя превосходно, однако не дал себе труда что-либо объяснять, только заверил, что завтра будет здоровехонек и встанет.

Ближе к вечеру в дверь комнатки постучали, а поскольку Кнульп задремал и не ответил, хозяйка тихонько вошла и вместо пустой суповой тарелки поставила на скамеечку у кровати чашку кофе с молоком.

Кнульп, разумеется, слышал, как она вошла, но то ли от усталости, то ли по капризу так и лежал с закрытыми глазами, ничем не показывая, что не спит. С пустой тарелкой в руке хозяйка взглянула на спящего, который подложил под голову локоть, прикрытый клетчатой голубой рубашкой. Ей бросилась в глаза шелковистость темных волос и почти детская красота беззаботного лица, и она на миг задержалась, разглядывая пригожего парня, о котором мастер рассказывал ей столько удивительных историй. Смотрела на густые брови над закрытыми глазами, на нежный светлый лоб и худые, однако загорелые щеки, на изящный румяный рот и стройную шею, и все это пришлось ей по душе, и она припомнила времена, когда служила подавальщицей в «Быке» и по вешней прихоти иной раз принимала ухаживания какого-нибудь пригожего чужого парня.

¹ Дузе Элеонора (1858–1924) – знаменитая итальянская драматическая актриса.

Мечтательно и в легком волнении хозяйка наклонилась немного вперед, чтобы увидеть все лицо, и тут вдруг оловянная ложка, соскользнув с тарелки, упала на пол, что в тишине и подспудной неловкости обстоятельств сильно напугало бедняжку.

Вот теперь Кнульп открыл глаза, медленно и как бы ни о чем не подозревая, словно крепко спал. Повернул голову, на миг заслонила глаза рукой и с улыбкой сказал:

– Ах, это вы, сударыня! Кофею мне принесли! Добрый горячий кофе – он-то мне аккурат и снился. Большое спасибо, госпожа Ротфус! Кстати, который час?

– Четыре, – быстро ответила она. – Пейте кофе, пока не остыл, а я потом заберу чашку.

С этими словами она поспешила вон, будто ее ожидали неотложные дела. Кнульп проводил ее взглядом, прислушался к торопливым шагам вниз по ступенькам. С задумчивым видом несколько раз покачал головой, потом тихонько по-птичь присвистнул и занялся кофеом.

Через час после наступления темноты ему, однако, стало скучно, он превосходно отдохнул, чувствовал себя хорошо, и его вновь потянуло немножко побыть среди людей. Он не спеша встал и оделся, бесшумно, словно куница, сбегал в потемках вниз по лестнице и незаметно выскользнул из дома. По-прежнему дул юго-западный ветер, сильный и сырой, но дождь кончился, и в небе виднелись большие ясные просветы.

С любопытством разведчика Кнульп прошелся по вечерним улицам и опустевшей Рыночной площади, потом остановился в открытых дверях кузницы, посмотрел, как ученики прибирают мастерскую, завел разговор с подмастерьями, согрел озябшие руки над остывающим темно-красным горном. Первым делом он осведомился о кой-каких знакомых в городе, расспросил о смертях и свадьбах, причем кузнец счел его своим коллегой, ведь он владел языками и опознавательными знаками всех ремесел.

Тем временем госпожа Ротфус готовила вечерний суп, гремела чугунными конфорками на маленькой плите да чистила картошку, а когда покончила со всем этим и суп уже стоял на медленном огне, взяла кухонную лампу, прошла в горницу и стала перед зеркалом. В зеркале она увидела, что искала: полное розовощекое лицо с голубовато-серыми глазами, а прическу, которая, на ее взгляд, нуждалась в улучшении, она ловкими пальцами быстро привела в порядок. Затем она еще раз обсушила фартуком свежeweмытые руки, взяла лампу и быстро поднялась в мансарду.

Тихонько постучав в дверь комнатки подмастерья, один раз и другой, и не получив ответа, она поставила лампу на пол и обеими руками осторожно, без скрипа, приоткрыла дверь. На цыпочках вошла, сделала шаг и нащупала стул подле кровати.

– Вы спите? – спросила она вполголоса. И еще раз: – Вы спите? Я только хотела забрать посуду.

Поскольку все осталось тихо-спокойно и даже дыхания не было слышно, она потянулась рукой к постели, но тотчас же с испугом отдернула ее и побежала за лампой. А когда обнаружила, что комнатка пуста, кровать тщательно застелена, даже подушка и перина безупречно взбиты, то растерянно, испытывая разом и страх, и разочарование, вернулась к себе на кухню.

Полчаса спустя, когда был накрыт стол и кожевник пришел ужинать, хозяйка уже подумывала рассказать мужу о своем визите в мансарду, но никак не могла собраться с духом. Тут дверь внизу отворилась, легкие шаги послышались в мощном коридоре и на лестнице, и на пороге возник Кнульп, снял щегольскую коричневую шляпу и пожелал доброго вечера.

– Ба, откуда ж ты взялся? – удивленно воскликнул мастер. – Больной, а сам где-то шастает по ночам! Этак можно до смерти простыть.

– Твоя правда, – сказал Кнульп. – Добрый вечер, госпожа Ротфус, я как раз вовремя. Учужал ваш превосходный суп еще на Рыночной площади, он наверняка не даст мне умереть.

Все трое сели ужинать. Хозяин был разговорчив и хвастал своей домовитостью и положением мастера. То поддразнивал гостя, то серьезно убеждал бросить вечные скитания и безделье. Кнульп слушал, лишь изредка отвечая, хозяйка же не проронила ни слова. Она доса-

довала на мужа, который по сравнению с учтивым и пригожим Кнульпом казался ей грубым, неотесанным, и выказывала гостю свое одобрение, радушно его угощая. Когда пробило десять, Кнульп пожелал доброй ночи и попросил кожевника одолжить ему бритву.

– Аккуратист, – похвалил Ротфус, вручая ему бритву. – Маленько щетины на подбородке – сразу бриться. Ну что ж, доброй ночи и будь здоров!

Прежде чем пройти в комнатку, Кнульп высунулся в маленькое окошко наверху лестницы, хотел глянуть на погоду и окрестности. Ветер почти утих, и между крышами виднелся клочок черного неба, усыпанный ясными, влажно мерцающими звездами.

Только он собрался втянуть голову обратно и закрыть окно, как оконце напротив, в соседском доме, вдруг осветилось. Он увидел низкую комнатку, очень похожую на его, куда вошла молоденькая служанка, в одной руке у нее была свеча в латунном подсвечнике, в другой – большой кувшин для воды, который она опустила на пол. Затем свеча озарила узкую девичью кровать, скромно и аккуратно накрытую грубошерстным красным одеялом и приглашавшую ко сну. Девушка поставила подсвечник – он не видел куда – и села на низкий зеленый сундук, какие обычно в ходу у служанок.

Когда напротив начала разыгрываться нежданная сцена, Кнульп немедля задул свою свечу, чтобы его не заметили, и теперь замер, высунувшись из оконца и весь обратившись в слух.

Молоденькая служанка была из тех, что ему нравились. Лет восемнадцати-девятнадцати, небольшого роста, с добрым загорелым лицом, карими глазами и густыми темными волосами. Кроткое приятное личико выглядело отнюдь не веселым, и, сидя на своем жестком зеленом сундучке, она казалась весьма огорченной и понурой, так что Кнульп, который знал и мир, и девушек, вполне мог подумать, что это юное существо на чужбине недавно и тоскует по дому. Она сложила худые загорелые руки на коленях и находила мимолетное утешение в том, что перед сном еще некоторое время сидела на своей нехитрой собственности и думала о горнице отчего дома.

Столь же недвижимый, как и она в своей комнатке, замер в окошке и Кнульп, со странным любопытством созерцая маленькую чужую жизнь, которая при свете свечи так невинно оберегала свою прелестную горечь и думать не думала, что у нее может быть свидетель. Он видел, как кроткие карие глаза то глядят прямо в окно, то их прикрывают длинные ресницы, а на смуглых детских щеках легонько играет красноватый отблеск свечи, видел усталость тонких молодых рук, которые стремились чуть отсрочить последний небольшой труд раздевания, покоясь на синем хлопчатобумажном платье.

Наконец девушка со вздохом подняла голову с тяжелыми, подколотыми гнездом косами, задумчиво, но все еще печально глянула в пустоту, а потом низко склонилась, чтобы развязать шнурки на ботинках.

Кнульпу не очень-то хотелось уходить прямо сейчас, но он полагал, что смотреть, как бедное дитя раздевается, будет неправильно и едва ли не жестоко. Он бы охотно окликнул ее, немного с нею поболтал и развеял печаль шутивным словом, чтобы она легла в постель чуть повеселев. Но опасался, что, если окликнет ее, она испугается и сразу же задует свечу.

Вместо этого он пустил в ход одно из многих своих умений. Принялся насвистывать, бесконечно красиво и нежно, словно из дальней дали, а насвистывал он песню «Глубокая запруда, с колес бежит вода»² и выводил ее так красиво и нежно, что девушка довольно долго слушала, толком не понимая, в чем дело, и лишь на третьем куплете медленно выпрямилась, встала и, прислушиваясь, подошла к окошку.

² Первые строки песни на слова Й. Эйхендорфа (1787–1855) «Сломанное колечко». Перевод З. Морозкиной.

Высунувшись наружу, она опять прислушалась, а Кнульп продолжал тихонько насвистывать. На протяжении нескольких тактов она покачивала головой в ритме мелодии, потом вдруг подняла взгляд и поняла, откуда идет музыка.

– Кто здесь? – вполголоса спросила она.

– Всего лишь подмастерье кожевника, – донесся столь же тихий ответ. – Я не хотел тревожить девичий сон. Просто немного затосковал по дому, вот и свистел эту песенку. Но я и веселые знаю... Никак и ты, девушка, здесь чужая?

– Я из Шварцвальда.

– Вон как, из Шварцвальда! Я тоже оттуда, выходит, мы земляки. Как тебе нравится в Лехштеттене? Мне он вовсе не по душе.

– Пока не могу сказать, я тут всего-то восемь дней. Но мне тоже не очень по душе. А вы давно здесь?

– Нет, три дня. Но земляки друг с другом на «ты», верно?

– Нет, я так не могу, мы же совсем друг друга не знаем.

– Не знаем, так узнаем. Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется. Откуда же вы родом, барышня?

– Вам это место незнакомо.

– Как знать. Или это секрет?

– Ахтхаузен. Всего-навсего маленькая деревушка.

– Но красивая, правда? Впереди на углу часовня, и мельница есть или пилорама, а там большой рыжий сенбернар. Так или нет?

– Господи Боже мой, Белло!

Поскольку девушка уверилась, что он знаком с ее родиной и действительно там бывал, недоверчивость и уныние большей частью развеялись, и, изрядно повеселев, она быстро спросила:

– Вы и Андреса Флика знаете?

– Нет, я никого там не знаю. Однако ж это, поди, ваш батюшка?

– Да.

– Тогда вы, стало быть, барышня Флик, и если я теперь еще и имя узнаю, то смогу написать вам письмецо, коли случится мне снова проходить через Ахтхаузен.

– Вы никак уже сызнова в дорогу собираетесь?

– Нет, не собираюсь, но хочу узнать ваше имя, барышня Флик.

– Да ведь и я вашего не знаю.

– Жаль, но это дело поправимое. Меня зовут Карл Эберхард, и ежели мы как-нибудь встретимся днем, вы будете знать, как меня окликнуть, а мне-то как вас тогда назвать?

– Барбара.

– Ну вот, так-то лучше, большое спасибо. Правда, имя ваше произнести трудно, но готов поспорить, дома вас звали Бербеле.

– Верно. Но раз вы и без того все знаете, почему задаете столько вопросов? Хотя пришла пора заканчивать. Доброй ночи, кожевник.

– Доброй ночи, барышня Бербеле. Приятных снов, ну а я вам еще немножко посвищу. Не убегайте, это ж ничего не стоит.

И он сей же час принялся насвистывать и вывел искусную мелодию вроде йодля, с двойными нотами и трелями, искристую, словно танцевальный напев. С удивлением девушка вникла в это мастерство, а когда все смолкло, тихонько закрыла и заперла ставню, меж тем как Кнульп впотьмах добрался до своей комнатки.

На сей раз Кнульп встал утром вовремя и перво-наперво решил воспользоваться кожевниковой бритвой. Однако кожевник уже много лет носил окладистую бороду, и лезвие без-

можно затупилось, так что, прежде чем побриться, Кнульпу пришлось добрых полчаса править его на кожаной подтяжке. Покончив с бритьем, он надел сюртук, взял в руку башмаки и спустился на кухню, где было тепло и уже пахло кофеем.

У жены мастера он попросил щетку и вакуу, чтобы почистить башмаки.

– Ах, ну что вы! – вскричала она. – Не мужское это дело. Давайте-ка я.

Однако Кнульп не согласился и, когда она в конце концов с неловким смешком поставила перед ним означенные вещи, взялся за дело, основательно, аккуратно и притом без всякого усилия, как мужчина, который занимается ручным трудом лишь от случая к случаю и по настроению, но уж тогда со всем тщанием и радостью.

– Вот это мне по нраву! – похвалила хозяйка, глядя на него. – Ишь, как надраили, ровно аккуратно к зазнобе собрались.

– О, я бы с радостью.

– Охотно верю. Она у вас, поди, красotka. – Хозяйка опять назойливо рассмеялась. – Небось даже не одна?

– Ой, нехорошо этак-то говорить, – весело попенял Кнульп. – Могу показать вам портрет.

Сгорая от любопытства, хозяйка подошла ближе, а он достал из нагрудного кармана кленчатый футлярчик и извлек оттуда портрет Дузе. Она с интересом рассмотрела его и осторожно похвалила:

– Впрямь хороша, почитай что настоящая дама. Только вот больно худая. Здорова ли?

– Насколько я знаю, вполне. Ну а теперь пойдете-ка к хозяину. Старина, слышно, в горнице.

Он вошел, поздоровался с кожевником. Горница была выметена, и светлые панели, часы, зеркало и фотографии на стене сообщали ей вид приветливый и уютный. «Этакая чистая комната, – подумал Кнульп, – зимой отнюдь не дурна, но жениться ради этого все ж таки не стоит». Благорасположение, какое выказывала ему хозяйка, ничуть его не радовало.

Когда выпили кофе с молоком, он вместе с мастером Ротфусом спустился во двор, к сараям, и тот показал ему всю кожевную мастерскую. Кнульп, знакомый почти со всеми ремеслами, задавал вопросы с такой осведомленностью, что друг его был весьма удивлен.

– Откуда ж тебе все это известно? – оживленно спросил он. – Можно подумать, ты вправду подмастерье кожевника или был им.

– В путешествиях много чего узнаешь, – степенно отвечал Кнульп. – Кстати, что до кожевного дела, так ты сам был мне наставником, неужто забыл? Лет шесть-семь назад, когда мы вместе странствовали, ты все это и рассказал.

– И ты до сих пор помнишь?

– Кое-что помню, Ротфус. Но теперь не стану больше тебе мешать. Жаль, я бы с радостью пособил тебе чуток, только вот там внизу ужасная сырость и духота, а я еще кашляю. В общем, счастливо оставаться, старина, пойду прогуляюсь по городу, пока дождя нет.

Когда он вышел из дома и, слегка сдвинув на затылок коричневую фетровую шляпу, неторопливо зашагал по Кожевному переулку в город, Ротфус стоял на крыльце, смотрел, как он, в аккуратно вычищенном костюме, легкой походкой, с наслаждением шел по дороге, старательно огибая лужи, оставшиеся после дождя.

«Вообще-то ему хорошо», – с легкой завистью думал мастер. И, направляясь к своим дубильным ямам, размышлял о своем чуде-друге, желавшем лишь созерцать жизнь, и не знал, считать ли это взыскательностью или скромностью. Тому, кто работал и стремился к счастливой доле, во многом, понятно, жилось лучше, но он никак не мог иметь такие красивые мягкие руки и такую легкую, горделивую поступь. Нет, Кнульп прав, действуя сообразно своей натуре, ведь далеко не многие могли последовать его примеру, когда он, как ребенок, заговаривал с любым встречным и располагал его к себе, всем девушкам и женщинам делал комплименты и каждый день был для него воскресным. Надо принимать его таким, каков он

есть, а коли ему плохо и требуется крыша над головой, сочти за честь и удовольствие предоставить ему приют, да, пожалуй, еще и спасибо скажи, ведь от его присутствия в доме становится радостно и светло.

Меж тем его гость весело и с любопытством шел по городку, насвистывая сквозь зубы военный марш, и без спешки наведывался в те места и к тем людям, каких знал по прежним временам. Сперва он отправился в расположенную на крутом склоне слободу, к знакомому бедняку-портному, который занимался починкой одежды, жаль мужика, вечно он штопал да латал старые брюки и редко когда шил новый костюм, а ведь кое-что умел, и надежды в былые дни подавал, и в хороших мастерских работал. Однако ж рано женился и ребятишками обзавелся, но жена была не ахти какой хозяйкой. Этого портного, по фамилии Шлоттербек, Кнульп, поискавши, нашел на четвертом этаже одного из дворовых флигелей. Маленькая мастерская, словно птичье гнездо, висела в воздухе над бездной, потому что дом стоял на косогоре и, если глянуть из окон прямо вниз, под тобой были не только три этажа, но вся головокружительная круча с убогими садиками и клочками лужаек, заканчивающаяся серым лабиринтом флигельков, курятников, козых и кроличьих загоронок, а следующие крыши, видневшиеся еще ниже, находились уже вне этого хаоса, совсем крохотные глубоко на дне долины. Зато в портняжной мастерской было светло и дышалось легко, а на широком столе у окна сидел высоко над светлым миром прилежный Шлоттербек, ровно страж на маяке.

– Здравствуй, Шлоттербек, – входя, сказал Кнульп, и портной, ослепленный светом, сощурился, посмотрел на дверь.

– Ба, Кнульп! – просиял он, протягивая руку. – Сызнова в наших краях? И что стряслось, коли ты забрался ко мне на верхотуру?

Кнульп придвинул к себе трехногую табуретку, сел.

– Дай-ка иголку да нитку, только коричневую и самую тонкую, хочу произвести осмотр.

С этими словами он снял сюртук и жилет, выбрал нитку, вдел в иглу и зорким оком осмотрел весь свой костюм, с виду еще очень хороший, почти как новый, и вскоре прилежными пальцами зачинил каждую потертость, закрепил каждую чуть надорванную тесьму, пришил каждую разболтанную пуговицу.

– А как вообще-то жизнь? – спросил Шлоттербек. – Нынешнее время года похвал не заслуживает. Но в конце концов, коли ты здоров и не имеешь семьи...

Кнульп полемически хмыкнул и небрежно обронил:

– Да-да, Господь посылает дождь на праведных и неправедных³, только портные сидят себе в сухом месте. Тебе все еще есть на что жаловаться, Шлоттербек?

– Ах, Кнульп, что тут говорить. Сам слышишь, как гомонят ребятишки за стеной. Их теперь пятеро. Вот и сидишь до глубокой ночи, пуп надрываешь, а концы с концами никак не сведешь. А ты вот по-прежнему гуляешь!

– Ошибаешься, старина. Четыре-пять недель я пролежал в Нойштадте в больнице, а они без особой нужды никого не держат, да никто без особой нужды там и не замешкается. Пути Господни неисповедимы, друг Шлоттербек.

– Ах, оставь ты эти присловья!

– Где ж твое благочестие, а? Я вот как раз тоже хочу стать благочестивым, потому и пришел к тебе. Как насчет этого, старый домосед?

– Оставь ты меня в покое с благочестием! В больнице, говоришь, лежал? Что ж, сочувствую.

³ Мф. 5:45.

– Не надо, все уж миновало. А теперь расскажи-ка: как оно обстоит с Книгой Сираха⁴ и с Откровением? Знаешь, в больнице у меня и время было, и Библия, я почти все прочел и теперь беседовать мне куда сподручнее. Прелюбопытная книга, Библия-то.

– Тут ты прав. Прелюбопытная и наполовину не иначе как лживая, потому что одно с другим не сходится. Ты, поди, лучше разбираешься, ведь когда-то учился в латинской школе.

– Оттуда я мало что помню.

– Понимаешь, Кнульп... – Портной сплюнул в открытое окно и во все глаза, с ожесточенным выражением на лице проследил за плевком. – Понимаешь, Кнульп, толку от благочестия никакого. Ни на грош, и мне на него начхать, вот что я тебе скажу. Начхать!

Странник задумчиво посмотрел на него.

– Так-так. Тут ты хватил через край, старина. По-моему, в Библии записаны вполне разумные вещи.

– Да, а пролистай чуть дальше, непременно обнаружишь прямо противоположное. Нет, я с этим покончил, и точка.

Кнульп встал, взял в руки утюг.

– Подбрось парочку угольков, – попросил он портного.

– Зачем?

– Жилетку хочу подгладить, знаешь ли, да и шляпе не повредит, после стольких дождей.

– Вечный франт! – несколько раздраженно воскликнул Шлоттербек. – И зачем тебе ходить таким графом, коли ты всего-навсего нищеброд?

Кнульп спокойно усмехнулся:

– Так лучше выглядишь, и мне доставляет радость, и коли не желаешь ты сделать доброе дело из благочестия, то просто послужи старому приятелю, ладно?

Портной вышел за дверь и вскоре вернулся с горячим утюгом.

– Вот и хорошо, – похвалил Кнульп, – большое спасибо!

Он начал осторожно разглаживать поля своей фетровой шляпы, а поскольку был в этом не так ловок, как в шитье, приятель забрал у него утюг и взялся за дело сам.

– Вот это мне по душе, – благодарно сказал Кнульп. – Шляпа опять хоть куда. Однако ж от Библии ты, портной, требуешь слишком многого. Что именно истинно и как, собственно, устроена жизнь, всяк должен сам для себя раскумекать, этого ни в какой книге не вычитать, я так думаю. Библия – книга древняя, и раньше еще не знали много чего, что известно теперь; но поэтому в ней записано много доброго и прекрасного, да и весьма много истинного. Порой она казалась мне чудесной книгой с картинками, знаешь ли. Вот как девушка Руфь идет по полю, подбирает колосья позади жнецов⁵ – это же замечательно, прямо чувствуешь жаркое прекрасное лето, или как Спаситель, глядя на малых детей, думает: вы Мне куда милее всех старцев с их надменностью! По-моему, тут Он прав, тут впору у Него поучиться.

– Пожалуй, – согласился Шлоттербек, все-таки не желая признать его правоту. – Только ведь проще обходиться этак с чужими детьми, чем когда у тебя своих пятеро и ты не знаешь, как их прокормить.

Он опять совсем приуныл и огорчился, и Кнульп не мог на это смотреть. Надо бы перед уходом сказать портному что-нибудь хорошее. Он призадумался. Потом наклонился поближе к Шлоттербеку, светлыми глазами серьезно посмотрел ему в лицо и тихо сказал:

– Но разве ты не любишь своих детишек?

Портной с испугом воззрился на него.

– Что ты такое говоришь! Конечно, люблю, особенно старшего.

Кнульп с величайшей серьезностью кивнул:

⁴ Имеется в виду Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова.

⁵ Руфь, 2:2.

– Пойду я, Шлоттербек, и большое тебе спасибо. Жилет выглядит теперь вдвое дороже... Кстати, с детьми будь поласковой да повеселей – уже вполонину накормишь-напоишь. А сейчас я скажу тебе кое-что, о чем никто не знает, и ты никому не должен об этом рассказывать.

Внимательно и покорно портной смотрел в его светлые глаза, очень серьезные. Кнульп говорил так тихо, что портной с трудом его понимал:

– Взгляни на меня! Ты мне завидуешь и думаешь: ему легко, ни семьи, ни забот! Ах, если б так. Представь себе, у меня есть сынок, мальчуган двух лет от роду, и живет он у чужих людей, потому что отец его никому неизвестен, а мать умерла родами. Тебе незачем знать, в каком он городе; но я-то знаю и, когда бываю там, украдкой хожу возле дома, стою у забора и жду, а коли посчастливится мне увидеть малыша, я не могу ни за ручку его взять, ни поцеловать, разве только насвистеть мимоходом какую-нибудь песенку... Такие вот дела, а теперь адью, и радуйся, что у тебя есть дети!

Кнульп продолжил прогулку по городу, через окно мастерской перекинулся словечком-другим с токарем, наблюдая за быстрой пляской курчавой древесной стружки, поздоровался по пути и с полицейским, который отнесся к нему благосклонно и угостил понюшкой табаку из березовой табакерки. Повсюду он узнавал о больших и малых событиях в семьях и в делах ремесленников, услышал о безвременной смерти жены городского казначея и о непутевом сыне бургомистра, сам же рассказывал новости из других мест и радовался слабым, капризным узам, что как знакомого, друга и посвященного тут и там соединяли его с жизнью почтенных местных обитателей. День был субботний, и у подворотни какой-то пивоварни он спросил у подмастерьев, где нынче вечером можно потанцевать.

Возможностей было несколько, но самая лучшая – в гертельфингенском «Льве», всего в полчаса ходьбы. Туда-то он и решил пригласить Бербеле, юную соседскую прислугу.

Близилось время обеда, и, когда Кнульп поднимался по лестнице ротфусовского дома, из кухни ему навстречу пахнуло приятно-сытным ароматом. Он остановился и с мальчишеским удовольствием и любопытством втянул чуткими ноздрями отраднй бальзам. Но как ни тихо он вошел, его уже услышали. Хозяйка отворила дверь кухни и приветливо стояла в светлом проеме, окруженная парами съестного.

– Здравствуйте, господин Кнульп, – ласково сказала она, – как хорошо, что вы пришли пораньше. У нас нынче ливерные клецки, знаете ли, и я подумала, не поджарить ли специально для вас кусочек печенки, вдруг вам этак больше по вкусу. Что скажете?

Кнульп потер подбородок и сделал галантный жест.

– В честь чего бы готовить мне на особицу, я уже рад, коли есть суп.

– Ну что вы, после болезни-то человека надобно кормить хорошенько, иначе откуда ему взять силы? Но, может, вы вообще печенку не любите? Не все ведь ее любят.

Он скромно рассмеялся:

– О, я не из их числа, полная тарелка ливерных клецок – это же суший праздник, пусть бы мне всю жизнь каждое воскресенье их подавали, я бы не прочь.

– У нас вам ни в чем недостатка не будет. Для чего стряпать-то учились! Вы только скажите, я ведь специально для вас приберегла кусочек печенки. Вам пойдет на пользу.

Она подошла ближе, ободряюще улыбнулась. Кнульп прекрасно понял, что она имела в виду, да и бабенка была весьма пригожая, однако он сделал вид, будто ничего не замечает. Вертел в руках свою нарядную фетровую шляпу, отутюженную беднягой портным, и смотрел в сторону.

– Спасибо, сударыня, большое спасибо за ваше участие. Но клецки мне в самом деле больше по вкусу. Вы и без того меня балуете.

Она улыбнулась и погрозила ему пальцем.

– Незачем разыгрывать этакую скромность, я все равно не поверю. Ладно, пусть клецки! И лучку побольше, идет?

– Не откажусь.

Она озабоченно вернулась к плите, а он устроился в горнице, где уже был накрыт стол. И читал вчерашнюю еженедельную газету, пока не пришел хозяин и не подали суп. После обеда они втроем минут пятнадцать играли в карты, причем Кнульп поразил хозяйку несколькими новыми, лихими и ловкими карточными фокусами. Он и карты умел перетасовать с легкой небрежностью и мгновенно разложить их по порядку, а делая ход, элегантно жестом бросал карту на стол и временами пробегал большим пальцем по краям своего расклада. Хозяин наблюдал за ним с восхищением и мягкой снисходительностью солидного труженика, который готов благосклонно стерпеть праздные развлечения. Хозяйка же смотрела на эти свидетельства светского лоска и умения жить с участливой симпатией и глаз не сводила с узких, холеных рук Кнульпа, не обезображенных тяжелой работой.

Сквозь оконные стекла в горницу вливался слабый, неуверенный солнечный свет, падал на стол и на карты, капризно и бессильно играл на полу со смутными тенями, трепетал легкими кругами на голубом потолке комнаты. Горящие глаза Кнульпа примечали все вокруг – игру февральского солнца, безмятежную умиротворенность дома, серьезное лицо работающего ремесленника и друга, затуманенные взгляды пригожей женщины. Вот это ему не нравилось, не было для него целью и счастьем. «Будь я здоров, – думал он, – и будь сейчас лето, я бы и часу здесь не остался».

– Пойду пройдуся по солнышку, – сказал он, когда Ротфус собрал карты и глянул на часы.

Вместе с хозяином он спустился по лестнице, оставил его в сушильне со шкурами и задумчиво зашагал по траве узкого запущенного садика, который, перемежаясь с дубильными ямами, тянулся до самой речки. Там кожевник соорудил небольшие дощатые мостки, где промывал сырые кожи. Кнульп уселся на мостках, свесил ноги к тихой бегущей воде, забавляясь, поглядел на быстрых темных рыб, проплывавших под ним, а затем принялся с любопытством изучать округу, потому что искал возможности поговорить с молоденькой соседской служанкой.

Садки примыкали друг к другу, разделенные хлипким штакетником, и внизу, у воды, где планки ограды давно сгнили и исчезли, можно было без помех перейти с одного участка на другой. Соседский участок с виду казался более ухоженным, чем одичавший кожевников. Там виднелись четыре ряда грядок, заросшие травой и провалившиеся, как обычно после зимы. На двух грядках кое-где росли латук и перезимовавший шпинат, штамбовые розы с прикопанными кронами сгибались к земле. Дальше, заслоняя дом, стояли несколько красивых пихт.

Хорошенько осмотрев чужой участок, Кнульп бесшумно подобрался к этим деревьям и теперь увидел за ними дом; кухня выходила на задний двор, и немного погодя он углядел и служанку: закатав рукава, она хозяйничала на кухне. Хозяйка тоже была там и поминутно командовала да поучала, как все женщины, которые по причине нехватки средств не могут нанять обученную прислугу, ежегодно ее меняют, но задним числом без усталости нахваляются. Впрочем, в ее указаниях и претензиях не было злости, и девушка, казалось, уже к ним привыкла, поскольку работу свою делала уверенно и спокойно.

Пришелец прислонился к стволу, стоял, вытянув голову вперед, любопытный и настороженный, словно охотник, и прислушивался с веселым терпением человека, у которого времени пруд пруди и который натерел участвовать в жизни зрителем и слушателем. Он с радостью наблюдал за девушкой, когда та появлялась в окне, а по выговору хозяйки сделал вывод, что родом она не из Лехштеттена, а из мест выше по долине, в нескольких часах ходу. Часа этак полтора он, спокойно слушая, грыз душистую пихтовую веточку, пока хозяйка не ушла и на кухне не настала тишина.

Он еще немного подождал, потом тихонько подошел к кухонному окну и сухим прутиком постучал в стекло. Служанка не обратила внимания, пришлось постучать еще дважды. Тогда она подошла к приоткрытому окну, распахнула его настежь и выглянула наружу.

– Ох, что это вы тут делаете? – вполголоса воскликнула она. – Едва не напугали меня.

– Зачем же меня пугаться! – с улыбкой отозвался Кнульп. – Я только хотел поздороваться да глянуть, как у вас дела. А поскольку нынче суббота, хотел спросить, свободны ли вы завтра во второй половине дня, чтобы совершить небольшую прогулку.

Она посмотрела на него и покачала головой, но он состроил такую безутешно огорченную мину, что ей стало его очень жаль.

– Нет, – дружелюбно отвечала она, – завтра я не свободна, разве только утром, чтобы пойти в церковь.

– Так-так, – проворчал Кнульп. – Ну, тогда вы наверное можете составить мне компанию нынче вечером.

– Нынче вечером? Н-да, свободна-то я свободна, но собираюсь написать письмо родным, домой.

– О, напишете часом позже, все равно нынче вечером оно отсюда не уйдет. Знаете, я ведь так радовался, рассчитывая снова немного поговорить с вами, а сегодня вечером, коли ничего не стрясется, мы могли бы прекраснейшим образом прогуляться. Ну пожалуйста, соглашайтесь, вы ведь не боитесь меня!

– Никого я не боюсь, тем более вас. Только ведь нельзя так. Вдруг кто увидит, что я гуляю с мужчиной...

– Но, Бербеле, вас ни одна душа здесь не знает. И в самом деле это никакой не грех и никого не касается. Вы ведь уже не школьница, а? Словом, не забудьте, в восемь я буду ждать возле гимнастического зала, у прохода на скотный рынок. Или мне прийти раньше? Я смогу.

– Нет-нет, раньше не надо. И вообще... вам незачем приходить, ничего не получится, и я не могу...

Лицо у него опять по-мальчишечьи вытянулось от огорчения.

– Ладно, раз уж вам не хочется! – печально проговорил он. – Я думал, вы здесь чужая, одинокая и порой тоскуете по дому, как и я, и мы бы могли кое-что рассказать друг другу, я бы охотно побольше узнал про Ахтхаузен, поскольку бывал там. Ну да ладно, заставлять вас я не могу и, поверьте, вовсе не хотел вас обидеть.

– Да что вы, какие обиды! Просто я не могу.

– Вы ведь свободны нынче вечером, Бербеле. Просто вам не хочется. Но, может быть, все-таки передумаете. Сейчас мне пора уходить, а вечером я буду ждать возле гимнастического зала и, если никого не дождусь, пойду на прогулку один, стану думать о вас и о том, что вы пишете письмо в Ахтхаузен. Ну, адью и простите великодушно!

Он коротко кивнул и ушел прежде, чем девушка успела сказать хоть слово. Она смотрела, как он исчезает за деревьями, и лицо у нее было растерянное. Потом она вернулась к работе и вдруг – хозяйка-то отлучилась – звонко запела.

Кнульп все прекрасно слышал. Он опять сидел на кожанниковых мостках, катал шарики из кусочка хлеба, прихваченного за обедом. Хлебные шарики он тихонько бросал в воду, один за другим, задумчиво наблюдая, как они тонут, отнесенные течением чуть в сторону, и как внизу, в темной глубине, тихие призрачные рыбы хватают их и поедают.

– Ну вот, – сказал за ужином кожевник, – субботний вечер, а ты ведь знать не знаешь, как это замечательно, после целой недели усердных трудов.

– Отчего же, вполне могу себе представить, – улыбнулся Кнульп, и хозяйка тоже улыбнулась и плутовски посмотрела ему в лицо.

– Сегодня вечером, – торжественным тоном продолжал Ротфус, – сегодня вечером мы с тобой разопьем добрый кувшинчик пива, старушка моя сей же час принесет, ладно? А завтра, коли денек будет погожий, махнем втроем на прогулку. Что ты на это скажешь, старый дружище?

Кнульп крепко хлопнул его по плечу.

– Хорошо у тебя, что говорить, и прогулке я уже теперь радуюсь. Однако нынче вечером у меня есть одно дельце, надо повидать приятеля, он работал тут в верхней кузнице и завтра уезжает... Так что извини, но завтра мы весь день проведем вместе, кабы я знал, нипочем бы не стал с ним уговариваться.

– Ты никак вправду из дому собрался? Ведь нездоров еще!

– Ну что ты, чересчур баловать себя тоже нельзя. Я вернусь не поздно. Скажи только, где ты прячешь ключ, чтобы я мог войти.

– Упрямец ты, Кнульп. Ладно, ступай, а ключ найдешь за ставней погреба. Знаешь ведь, где это?

– Конечно. Тогда я пойду, прямо сейчас. А вы ложитесь пораньше! Доброй ночи. Доброй ночи, хозяйюшка.

Он вышел, а когда был уже внизу, у двери, его поспешно догнала хозяйка. Принесла зонт и, не слушая возражений, всучила Кнульпу.

– Вы и о себе должны думать, Кнульп, – сказала она. – А сейчас я покажу вам, где найти ключ.

В темноте она взяла его за руку, повела за угол дома и остановилась у оконца, закрытого деревянными ставнями.

– Вот за эту ставню мы кладем ключ, – взволнованным шепотом сообщила она и погладила Кнульпа по руке. – Суньте руку в прорезь и нащупаете его на подоконнике.

– Большое спасибо, – смущенно отвечал Кнульп, высвобождая руку.

– Оставить вам кружечку пива, к возвращению? – продолжала она, легонько прижимаясь к нему.

– Нет, спасибо, я редко пью пиво. Доброй ночи, госпожа Ротфус, и еще раз большое спасибо.

– Дело такое спешное? – нежно прошептала она, ущипнув его за плечо. Лицо ее было совсем рядом, и в смущенной тишине, не желая силой оттолкнуть ее, Кнульп погладил ее по волосам.

– Ну, мне пора, – неожиданно громким голосом воскликнул он, сделав шаг назад.

Полуоткрытыми губами она улыбнулась, в темноте он видел, как блеснули зубки. И она тихонько добавила:

– Я дождусь, когда ты вернешься, дорогой.

Он быстро зашагал прочь по темному переулку, с зонтом под мышкой, и на ближайшем углу, чтобы совладать с глупой неловкостью, засвистел песенку. Вот такую:

Я не думал никогда
На тебе жениться,
Ведь пришлось бы мне тогда
В обществе стыдиться⁶.

Задувал довольно теплый ветерок, и на черном небе порой проступали звезды. Предвкушая воскресный день, в трактире шумела молодежь, а в «Павлине» за окнами нового кегель-

⁶ Перевод Э. Венгеровой.

бана он заметил компанию солидных господ, они стояли кучкой, без пиджаков, с шарами в руках и сигарами во рту.

Возле гимнастического зала Кнульп остановился, глянул по сторонам. В голых каштанах еле слышно напевал влажный ветер, река беззвучно струилась в глубокой черноте, отражая несколько освещенных окон. Всеми фибрами своего существа он ощущал живительность мягкой ночи и дышал глубоко, жадно, предчувствуя весну, тепло, сухие дороги и странствие. Неисчерпаемая память его обозревала город, речную долину и всю округу, все здесь было ему знакомо, он знал дороги и водные пути, деревни, хутора, усадьбы, доброхотные постоянные дворы. Основательно подумав, он составил план следующего странствия, ведь оставаться здесь, в Лехштеттене, никак нельзя. Коли хозяйка не станет слишком его донимать, то ради друга он задержится на воскресенье, но не дольше.

«Может, – размышлял Кнульп, – стоило намекнуть кожевнику, насчет его хозяйки». Но он не любил совать нос в чужие заботы и не испытывал потребности помогать людям стать лучше или умнее. Сожалел, что дело обернулось таким образом, и думал о бывшей подавальщице из «Быка» отнюдь не дружелюбно, хотя с легкой насмешкой вспоминал и горделивые рассуждения кожевника о домашнем очаге и семейном счастье. Все это было ему хорошо знакомо, ведь если кто хвастался и кичился своим счастьем или добродетелью, то большей частью их и в помине не было, вот и с благочестием портного некогда обстояло точно так же. За людской дуростью можно наблюдать, можно смеяться над ближними или сочувствовать им, но идти они должны своим путем.

С задумчивым вздохом он отмел эти заботы. Прислонился к ложбине в стволе старого каштана, что рос напротив моста, и продолжил размышления о своем странствии. Он бы с удовольствием пересек Шварцвальд, но наверху сейчас холодно и, вероятно, покамест много снега, загубишь башмаки, да и от ночлега до ночлега далеко. Нет, так не годится, надо идти долинами, держаться городков. Оленья мельница, в четырех часах пути ниже по реке, – первый надежный приют, в плохую погоду можно задержаться там на день-другой.

Пока он стоял погруженный в свои мысли и уже почти запомнил, что кого-то ждет, в потемках, на проносном ветру появилась на мосту худенькая, боязливая фигурка, нерешительно подошла ближе. Он тотчас узнал ее, радостно и благодарно поспешил навстречу и снял шляпу.

– Как мило, что вы пришли, Бербеле, я уж и надеяться не смел.

Он шел по левую руку от нее, вел ее по аллее вверх по реке. Она робела и стеснялась.

– Неправильно это все ж таки, – снова и снова твердила она. – Ах, только бы нас никто не увидел!

Но Кнульп так и сыпал вопросами, и скоро шаги девушки сделались спокойнее и ровнее, а в конце концов она уже по-товарищески шла рядом с ним легкой и бодрой походкой и, подбадриваемая его вопросами и репликами, с удовольствием и жаром рассказывала о своей родине, об отце с матерью, о брате и бабушке, об утках и курах, о градобое и болезнях, о свадьбах и праздниках освящения храма. Кладезь ее драгоценных воспоминаний открылся, она даже не предполагала, что он так велик, и вот, наконец, настал черед поведать про устройство на работу и разлуку с родным домом, про теперешнее место и хозяев.

Они давным-давно вышли из городка, но Бербеле ничего не заметила. За разговором она как бы стряхнула гнет долгой, унылой недели на чужбине, молчания и терпения и изрядно повеселела.

– Где ж это мы? – вдруг удивленно воскликнула она. – Куда мы идем?

– С вашего позволения, мы идем в Гертельфинген и почти уже дошли.

– В Гертельфинген? А зачем нам туда? Давайте лучше повернем, час-то поздний.

– Когда вам нужно быть дома, Бербеле?

– В десять. Стало быть, пора возвращаться. Приятная была прогулка.

– До десяти еще далеко, – сказал Кнульп, – и я, конечно, прослежу, чтобы вы воротились вовремя. Но раз уж мы теперь встретимся не скоро, то, может, нынче рискнем потанцевать, а? Или вы не любите танцев?

Она взглянула на него с любопытством и удивлением:

– О, танцевать я люблю. Но где же? Прямо здесь, ночью?

– Надо вам знать, мы вот-вот будем в Гертельфингене, а там во «Льве» нынче музыка. Мы можем зайти туда, на один-единственный танец, а потом вернемся домой, проведя чудесный вечер.

Бербеле в сомнении остановилась.

– Было бы весело... – медленно проговорила она. – Но что о нас подумают? Не хочу я, чтоб меня сочли за такую, и чтоб люди думали, будто мы с вами парочка, тоже не хочу. – Она вдруг весело рассмеялась и воскликнула: – И вообще, если я когда-нибудь заведу сердечного дружка, то уж никак не кожевника. Не в обиду будь сказано, грязное у кожевников ремесло.

– Тут вы, пожалуй, правы, – добродушно отвечал Кнульп. – Так вам ведь не замуж за меня выходить. Никто знать не знает, что я кожевник и что вы этакая гордячка, а руки я отмыл, и коли вы, стало быть, не прочь танцевать со мной, я вас приглашаю. А не то повернем домой.

Во тьме за кустами проступила бледная кровля первого деревенского дома, и Кнульп вдруг поднес палец к губам, прошептал «тс-с!», и из деревни до них долетела танцевальная музыка – гармоника и скрипка.

– Ну хорошо! – рассмеялась девушка, и оба ускорили шаги.

Во «Льве» танцевали всего четыре-пять парочек, сплошь люди молодые, незнакомые Кнульпу. Происходило все степенно, благоприлично, и к чужой паре, присоединившейся к следующему танцу, никто не приставал. Они станцевали лендлер и польку, потом музыканты заиграли вальс, который Бербеле танцевать не умела. Глядя на других танцоров, они выпили по кружечке пива, на большее у Кнульпа денег не достало.

За танцами Бербеле вошла во вкус и теперь смотрела в маленький зал горящими глазами.

– Вообще-то пора домой, полдесятого уже, – сказал Кнульп.

Она встрепенулась с несколько огорченным видом и тихонько сказала:

– Ах, как жалко!

– Можно еще немного задержаться.

– Нет, пора домой. А как было хорошо.

Они вышли из зала, но за дверью девушка вдруг спохватилась:

– Мы ведь ни монетки музыкантам не дали.

– Верно, – чуть смущенно сказал Кнульп, – пфеннигов двадцать они вполне заслужили, только у меня, увы, нет ни гроша.

Бербеле решительно достала из кармана вышитый кошелечек.

– Что же вы не сказали? Вот двадцать пфеннигов, отдайте им!

Он взял монету, вручил музыкантам, а затем оба вышли на улицу и ненадолго остановились, чтобы глаза привыкли к крошечной темноте. Ветер усилился, накрапывал дождь.

– Открыть зонт? – спросил Кнульп.

– Нет, при таком ветре он и шагу не даст ступить. Да, так было хорошо. Вы, кожевник, прямо сущий танцмейстер.

Девушка продолжала весело болтать. Однако ее кавалер притих, возможно, устал, а возможно, опасался близкого прощания.

Неожиданно она запела:

– «То на Неккаре кошу, то на Рейн с косой иду». – Голос ее звучал тепло и чисто, и на очередном куплете Кнульп подхватил и вторил так уверенно, красивым низким голосом, что она слушала с большим удовольствием.

– Ну вот, тоска по дому теперь прошла? – спросил он под конец.

- О да, – звонко рассмеялась девушка. – Надо будет нам еще разок этак прогуляться.
- Сожалею, – тихо ответил Кнульп. – Пожалуй, этот раз был последний.

Она остановилась. Слушала рассеянно, но печаль в его голосе уловила и спросила с легким испугом:

- Что случилось? Я чем-то вас обидела?
- Нет, Бербеле. Просто завтра я ухожу, уволился.
- Да что вы говорите! Неужто правда? Очень жаль.

– Меня жалеть не стоит. Надолго я бы здесь так и так не остался, вдобавок я всего-навсего кожевник. А у вас вскоре появится сердечный дружок, пригожий парень, и вы забудете о тоске по дому, вот увидите.

– Ах, не надо так говорить! Знаете же, что нравитесь мне, хоть вы и не мой сердечный дружок.

Оба умолкли, ветер свистел им в лицо. Кнульп замедлил шаг. Они уже подходили к мосту. В конце концов он остановился.

- Давайте прощаться, остаток пути вам лучше пройти одной.
- Бербеле смотрела на него с искренним огорчением.

– Значит, все серьезно? Тогда я должна вас поблагодарить. Я этого не забуду. И всех вам благ.

Он взял ее за руку, притянул к себе и, меж тем как она боязливо и удивленно смотрела ему в глаза, обхватил ладонями ее голову с влажными от дождя косами и шепнул:

– Будьте счастливы, Бербеле. А на прощание подарите мне поцелуй, чтобы не совсем меня забыть.

Она чуть вздрогнула и хотела отстраниться, но взгляд у Кнульпа был добрый и печальный, и она только теперь заметила, какие красивые у него глаза. Не закрывая своих, она с серьезным видом позволила себя поцеловать, а так как он затем с робкой улыбкой помедлил, на глаза ей набежали слезы, и она от всего сердца вернула ему поцелуй.

Засим она поспешила прочь, но за мостом вдруг повернула обратно и снова подошла к нему. Он стоял все на том же месте.

- Что случилось, Бербеле? – спросил он. – Вам пора домой.
- Да-да, я ухожу. Только вы не должны плохо обо мне думать!
- Ну конечно, нет.

– И как же так случилось, кожевник? Вы ведь сказали, у вас нет денег. Но ведь перед уходом вам выплатят заработок?

– Нет, ничего мне больше не выплатят. Но это не имеет значения, я обойдусь, вам тут тревожиться не о чем.

- Нет-нет! Вам нужны хоть какие-то деньги. Вот, возьмите!
- Она сунула ему в ладонь большую монету, по ощущению – талер.
- Когда-нибудь вернете или перешлете, позднее.

Он удержал ее за руку.

– Так нельзя. Негоже вам этак обходиться со своими деньгами! Это же целый талер. Заберите его обратно! Да-да, заберите! Вот так. Будьте благоразумны. Если у вас найдется пфеннигов пятьдесят, я охотно возьму, потому что вправду на мели. Но не больше.

Они еще немного поспорили, и Бербеле пришлось показать свой кошелек, ведь она сказала, что, кроме талера, у нее нет ни гроша. Однако это оказалось не так, у нее была еще марка и двадцать пфеннигов серебром, которые в ту пору еще ходили. Кнульп хотел взять серебряную монетку, но девушка считала, этого слишком мало, и он сказал, что тогда вообще ничего не возьмет, и хотел уйти, но в конце концов все-таки взял марку, после чего она бегом побежала домой.

По дороге она размышляла только о том, почему он сейчас не поцеловал ее еще раз. И то сожалела, то именно это находила особенно милым и добропорядочным, и в конце концов так и порешила.

Добрый час спустя Кнульп пришел домой. Он заметил, что в горнице светло, а значит, хозяйка покамест не ложилась, ждала его. С досадою сплюнул и едва не поспешил прочь, прямо сейчас, среди ночи. Но он устал, и собирался дождь, вдобавок ему не хотелось обижать кожевника, да и не помешает напоследок сыграть беззлобную шутку.

Он выудил из тайника ключ, осторожно, ровно воришка, отпер входную дверь, затворил ее за собой, стиснув зубы, бесшумно запер и аккуратно отправил ключ на прежнее место. Потом в одних носках, с башмаками в руке, поднялся по лестнице, сквозь щелку приоткрытой двери горницы виднелся свет и слышалось глубокое дыхание хозяйки, от долгого ожидания уснувшей на диване. Затем неслышно пробрался к себе в комнатку, заперся и лег в постель. Но твердо решил утром отправиться дальше.

Мое воспоминание о Кнульпе

Случилось это в веселые годы моей юности, когда Кнульп был еще жив. Мы – он и я – странствовали тогда в летний зной по плодородному краю, и заботы нас мало обременяли. Днем мы неспешно шагали мимо золотистых хлебных полей либо отдыхали, расположившись под прохладной сенью орехового дерева или на лесной опушке, а вечером я слушал, как Кнульп рассказывает крестьянам разные истории, показывает детям китайские тени и поет девушкам свои несчетные песни. Слушал я с радостью и без зависти; ну разве только когда он стоял в окружении стайки девушек, загорелый, с сияющим лицом, а девушки, хотя много хихикали и насмешничали, глаз с него не сводили, мне порой казалось, что он все-таки редкий счастливчик, не чета мне, и тогда я, бывало, отходил в сторонку, чтобы не выглядеть пятой спицей в колеснице, и либо навещал приходского священника в его гостиной, просил о душевной вечерней беседе и о ночлеге, либо тихонько устраивался в трактире со стаканчиком вина.

Как-то раз ближе к вечеру мы, помнится, проходили мимо погоста, который вкупе с часовенкой сиротливо ютился меж полей, весьма далеко от ближайшей деревни, и со своими темными кустами, нависавшими над стеной, мирно покоился среди напоенного зноем родимого простора. У решетчатой калитки росли два больших каштана, но калитка была на замке, и я хотел продолжить путь. Кнульп, однако, идти дальше не желал, собрался перелезть через стену.

– Сызнова привал? – спросил я.

– А как же, само собой, не то у меня скоро ноги разболются.

– Ладно, но почему непременно на погосте?

– Милое дело, давай со мной. Я знаю, крестьяне себе во многом отказывают, но хотят, чтобы под землю им было хорошо. Потому-то не жалеют труда, сажают на могилах и рядом что-нибудь приятное.

Следом за ним я перелез через ограду и увидел, что он прав, перебраться через невысокую стену очень даже стоило. За нею прямыми и кривыми рядами теснились могилы, в большинстве снабженные белым деревянным крестом, а на них и над ними – сплошная зелень и пестрые цветы. Веселые огоньки вьюнков и герани, поглубже в тени – желтофиоль, розовые кусты усыпаны розами, густыми пышными зарослями высились сирень и бузина, впрямь суший сад.

Мы немного осмотрелись, а потом сели в траву, местами очень высокую и цветущую, передохнули, остыли и пришли в полное убогствование.

Кнульп прочитал имя на соседнем кресте и сказал:

– Этого зовут Энгельберт Ауэр, прожил он больше шести десятков лет. Зато и лежит теперь под резедою, под прелестными цветами, и ему там покойно. Я бы тоже не прочь лежать под резедою, а пока что прихвачу одну из здешних с собой.

– Не стоит, – сказал я, – возьми что-нибудь другое, резеда быстро вянет.

Он, однако, сорвал резеду и украсил ею шляпу, которая лежала рядом на траве.

– Какая здесь дивная тишина! – сказал я.

– В самом деле, – отозвался он. – А будь еще немного тише, мы бы, пожалуй, могли услышать беседу тех, что под землю.

– Да нет, они уже отговорили свое.

– Как знать? Поди, не зря сказывают, что смерть – это сон, а во сне люди часто разговаривают и даже поют.

– С тебя станется.

– Почему бы и нет? Будь я покойником, я бы дождался, когда в воскресный день сюда придут девушки и станут срывать с могилы цветочки, и тогда бы тихонько запел.

– Да, и что же?

– Как что? Песню какую-нибудь.

Кнульп улегся на траву, закрыл глаза и немного погодя тихим, детским голосом запел:

Раз умер я в юности,
Спойте, девы,
Прощальный куплет.
Когда я обратно вернусь,
Когда я обратно вернусь,
То красавцем во цвете лет⁷.

Я невольно засмеялся, хотя песенка мне понравилась. Пел он красиво и нежно, и пусть даже смысл порой расплывался, приятная мелодия все скрашивала.

– Кнульп, – сказал я, – не сули девушкам слишком много, иначе они быстро перестанут тебя слушать. Насчет возвращения еще куда ни шло, хоть никому это в точности не ведомо, а уж что ты вдобавок красавцем будешь, вовсе на воде вилами писано.

– Не спорю, оно конечно. Но мне было бы приятно. Помнишь, позавчера нам повстречался мальчонка с коровой, у которого мы спросили дорогу? Я бы с радостью опять стал таким. А ты нет?

– Я? Нет. Когда-то я знал одного старика, ему было, пожалуй, за семьдесят, и взгляд у него был добрый такой, спокойный, мне казалось, будто все в нем лишь доброта, мудрость и покой. И с тех пор я иной раз думаю, что хотел бы стать как он.

– Ну, для этого тебе пока годков недостает, знаешь ли. И вообще, странная штука – желания. Кабы вот сию минуту я, кивнув, мог тотчас сделаться пригожим мальчуганом, а ты, кивнув, – почтенным добрым стариканом, то ни один из нас не стал бы кивать. Мы бы охотно остались такими, как есть.

– Что правда, то правда.

– А как же. Да и вообще. Часто я думаю: самое прекрасное, самое расчудесное на свете – стройная юная девушка с белокурыми волосами. Однако это неправда, ведь нередко видишь, что брюнетка пожалуй что еще краше. Вдобавок, вот как сейчас, мне думается иначе: все-таки самое прекрасное, самое расчудесное на свете – красивая птица, когда видишь ее вольно парящей в небесной вышине. А в другой раз нет ничего удивительнее мотылька, белого, например, с красными крапинками на крылышках, или вечернего солнечного зарева в облаках, когда все сияет, но глаз не слепит и выглядит так радостно и безгрешно.

– Твоя правда, Кнульп. Ведь все прекрасно, когда смотришь в добрый час.

– Да. Однако, по-моему, тут есть кое-что еще. По-моему, глядя на самое прекрасное, всегда испытываешь не только удовольствие, но вдобавок печаль или страх.

– Это как же?

– Я вот так разумею: вполне пригожую девушку сочли бы, верно, не столь уж красивой, если б не знали, что сейчас она в самой поре, а потом состарится и умрет. Коли бы красивое вовеки оставалось одинаковым, я бы, пожалуй, порадовался, однако со временем стал бы смотреть холоднее, равнодушнее и думать: можно и не сегодня поглядеть, всегда успеется. Зато на бrenное, на то, что не может оставаться одинаковым, я смотрю не просто с радостью, но и с сочувствием.

– А-а, ну да.

– Потому-то нет для меня ничего прекраснее ночного фейерверка. Тогда в воздух летят ракеты, синие и зеленые, поднимаются высоко во тьму и, как раз когда они краше всего, описывают небольшую дугу и гаснут. Наблюдая за этим зрелищем, радуешься и в то же время

⁷ Перевод Э. Венгеровой.

боишься: вот сейчас все кончится! Это взаимосвязано и куда прекраснее, чем если бы все продолжалось дольше. Согласен?

– Пожалуй. Но применимо опять-таки не ко всему.

– Отчего же?

– Например, если двое любят друг друга и женятся или если два человека заключают дружбу, это как раз оттого и прекрасно, что не кончится сей же час, а продлится долго.

Кнульп пристально посмотрел на меня, потом, взмахнув черными ресницами, задумчиво проговорил:

– Верно. Но и этому приходит конец, как и всему. Много может погубить дружбу, да и любовь тоже.

– Конечно, только ведь никто об этом не думает, пока оно не случится.

– Не знаю... Видишь ли, я в жизни любил дважды, в смысле по-настоящему, и оба раза твердо верил, что любовь у меня навсегда и перестанет лишь со смертью, но оба раза все кончилось, а я не умер. И друг у меня тоже был, еще дома, в родном городе, и я никак не думал, что жизнь разведет нас в разные стороны. Тем не менее, мы разошлись, и уже давно.

Он умолк, а мне сказать было нечего. Я покамест не изведal горькой муки, неизбежно таящейся в человеческих взаимоотношениях, не узнал покамест, что меж двумя людьми, сколь бы тесно они ни были связаны друг с другом, всегда зияет пропасть, и только любовь способна перекинуть через нее утлый мостик, да и то лишь изредка и ненадолго. Размышлял я о давешних словах моего товарища, из которых мне больше всего пришлись по сердцу рассуждения о фейерверках, ведь я и сам порой испытывал сходные чувства. Безмолвно манящие цветные огни, взрывающиеся во тьму и слишком скоро в ней тонущие, представлялись мне символом всех человеческих желаний, которые, чем они прекраснее, тем меньше исполняются и тем быстрее угасают. Так я Кнульпу и сказал.

Но он не стал развивать эту мысль. Обронил только:

– Да-да. – И лишь через некоторое время негромко добавил: – Мечты и помышления не имеют ценности, да люди и не поступают так, как думают, наоборот, каждый шаг совершают, в сущности, совершенно безрассудно, просто по зову сердца. Хотя с дружбой и любовью, пожалуй, дело обстоит именно так, как я говорил. В конечном счете у каждого есть что-то сугубо свое, чем невозможно поделиться с другими. Это видно, когда человек умирает. Все тогда плачут и скорбят, день, месяц, а то и год, но затем усопший как бы исчезает, без следа, и в его гробу вполне мог бы лежать какой-нибудь безродный и безвестный подмастерье.

– Не по душе мне это, Кнульп. Мы ведь часто говорили, что в конце концов жизнь должна иметь смысл и главное для человека – быть добрым и благожелательным, а не дурным и враждебным. А как ты сейчас говоришь, выходит, все едино, и мы точно так же могли бы воровать и убивать.

– Нет, голубчик, не могли бы. Попробуй убей первых встречных, коли сможешь! Или потребуй от желтого мотылька стать голубым. Он тебя засмеет.

– Я не о том. Но коли все едино, то какой смысл быть добропорядочным? Ведь раз голубой все равно что желтый, а злой все равно что добрый, добропорядочности просто не существует. Тогда каждый ровно зверь в лесу и поступает по своей натуре и притом не имеет ни заслуги, ни вины.

Кнульп вздохнул.

– Н-да, что тут скажешь? Может, все и так, как ты говоришь. Но тогда нередко и по этой причине глупо огорчаешься, поскольку чувствуешь, что желания наши ничего не значат и все идет своим путем совершенно без нас. Однако вина оттого никуда не девается, пусть даже человек попросту не мог не быть дурным. Он же чувствует ее в себе. Потому-то доброе заведомо правильно, ведь тогда остаешься удовлетворен и совесть у тебя чиста.

По его лицу я видел, что он наскучил этими разговорами. С ним часто так бывало: он углублялся в философствования, составлял суждения, высказывался за них и против и вдруг прекращал. Раньше я полагал, что ему надоедали мои невразумительные ответы и реплики. Но тут было другое, он чувствовал, что склонность к отвлеченным рассуждениям уводила его туда, где ему недоставало познаний и слов. Конечно, он весьма много читал, в том числе Толстого, только вот не всегда мог в точности отличить истинные умозаключения от ложных и сам это чувствовал. Об ученых он говорил так, как одаренный ребенок говорит о взрослых: поневоле признавал, что у них больше власти и средств, нежели у него, но презирал их, оттого что использовали они их бестолково и при всех своих знаниях и умениях не могли разрешить загадок.

Он снова лежал, подложив руки под голову, смотрел сквозь темную бузинную листву в знойное голубое небо и мурлыкал старинную народную песню о Рейне. Я до сих пор помню последний куплет:

Раньше я красную юбку носила,
Теперь буду в черной юбке ходить,
Лет шесть или семь мне траур носить,
Пока не истлеет в гробу мой милый⁸.

Поздно вечером мы сидели друг против друга на темной опушке рощи, каждый с большим ломтем хлеба и половиной охотничьей колбасы, жевали и смотрели, как ночь вступает в свои права. Всего минуту-другую назад холмы купались в золотом вечернем зареве, расплывались в мягко-текучей дымке света, теперь же обернулись четкими сумрачными силуэтами, а деревья, поля на склонах и заросли кустов черным контуром проступали на фоне неба, которое еще сохраняло чуточку дневной голубизны, но уже наливалось глубокой ночной синью.

Пока было светло, мы вслух читали друг другу потешные рифмы из книжицы под названием «Напевы муз из немецкой шарманки», содержащей сплошь незатейливые и не вполне пристойные шуточные песни вкупе с небольшими гравюрами на дереве. Но свет угас, положив конец нашему развлечению. После ужина Кнульпу захотелось послушать музыку, я вытащил из кармана губную гармонику, но в ней оказалось полно хлебных крошек, и пришлось сперва прочистить ее, а потом сыграть несколько популярных мелодий. Темнота, окружавшая нас уже некоторое время, успела затопить просторный холмистый ландшафт, последние блеклые отсветы на небе тоже померкли, и мало-помалу в густеющей черноте одна за другой загорались звезды. Легкие, прозрачные звуки гармоники улетали в поля и вскоре терялись в воздушных далях.

– Нельзя же прямо сейчас спать, – сказал я Кнульпу. – Расскажи мне что-нибудь, необязательно быль, можно и сказку.

Кнульп задумался.

– Хорошо, – сказал он, – будет тебе быль и сказка, все разом. Это ведь сон. Он привиделся мне минувшей осенью, и после еще два раза снилось нечто похожее, об этом я и расскажу...

Представь себе маленький городок и улочку вроде тех, что у меня на родине, фронтоны всех домов нависали над мостовой, но были выше обычного. Я шел по этой улице, и мне казалось, будто я после долгого-долгого отсутствия наконец вернулся домой; впрочем, радовался я как бы только наполовину, что-то здесь было не так, и меня грызло сомнение, не очутился ли я все же не на родине, а в чужом краю. Иные места выглядели совершенно так, как мне помнилось, я тотчас их узнавал, однако многие дома были незнакомы, непривычны, к тому же я не находил ни моста, ни дороги к Рыночной площади, вместо этого прошел мимо незнакомого

⁸ Перевод Э. Венгеровой.

сада и церкви, напоминавшей кельнскую или базельскую, с двумя высокими башнями. У нас дома церковь была без башен, только с коротким выступом под временной крышей, потому что строители просчитались с деньгами и материалами и закончить башню не смогли.

С людьми – та же история. Иные, кого я примечал издали, были мне хорошо знакомы, я помнил их имена и намеревался окликнуть. Но одни успевали зайти в дом, другие – свернуть в боковой переулок, а тот, кто шел навстречу и проходил мимо, преображался, становился чужим; когда же он, разминувшись со мной, вновь отдалялся, я провожал его взглядом и думал, что все-таки это был тот, кого я наверняка знаю. Возле торговой лавки стояла кучка женщин, и одна из них даже показалась мне покойной тетушкой; однако, подойдя, я опять никого не узнал и вдобавок услышал, что говорят они на совершенно чужом наречии, едва мне понятном.

В конце концов я подумал: «Лучше поскорее уйти из этого города, он вроде как тот самый, а вроде как и нет». Но снова и снова я наткнулся на знакомый дом или видел впереди знакомое лицо и опять всякий раз обманывался. При этом я не злился и не досадовал, только грустил и пугался; хотел прочесть молитву и изо всех сил вспоминал, да только вот в голову приходили сплошь нелепые, глупые фразы – к примеру, «глубокоуважаемый сударь» и «в имеющих место обстоятельствах», – и я растерянно и печально бормотал их себе под нос.

Кажется, так продолжалось несколько часов; потный и усталый, я по-прежнему безвольно ковылял по городу. Уже свечерело, и я решил спросить у прохожих о постоялом дворе или о большом тракте, но заговорить ни с кем не мог, все шли мимо, будто меня вообще нет. От усталости и отчаяния я едва не плакал.

И вдруг, в очередной раз свернув за угол, я увидел перед собою наш давний переулок, слегка изменившийся и приукрашенный, но меня это ничуть не смутило. Я решительно устремился туда – в самом деле, дома все знакомые, несмотря на сновиденческие выкрутасы, а вот, наконец, и мой старый родительский дом. Тоже непомерно высокий, но в остальном почти как в былые времена; радость и волнение пробежали у меня по спине мурашками страха.

На пороге, однако, стояла моя первая любовь, по имени Генриетта. Правда, она стала как будто бы выше ростом и выглядела немного по-другому, нежели прежде, – еще больше похорошела. Мало того, подходя ближе, я увидел, что красота ее была поистине чудесной, совершенно ангельской, но заметил и что она светлая блондинка, а не шатенка, как Генриетта, тем не менее, это была она, с ног до головы, хоть и просветленная.

«Генриетта!» – окликнул я и снял шляпу, ведь она выглядела так благородно, что я сомневался, пожелает ли она меня узнать.

Она обернулась, посмотрела мне в глаза. Но когда она так на меня смотрела, я поневоле, с изумлением и стыдом, сообразил, что она вовсе не та, за кого я ее принял, это Лизабет, моя вторая любовь, с которой мы долго жили вместе. «Лизабет!» – воскликнул я, протягивая руку.

Она все смотрела на меня, и взгляд ее проникал мне в самое сердце, вот так, верно, смотрел бы Господь, не сурово и не надменно, а совершенно спокойно и ясно, но до того одухотворенно и возвышенно, что я почувствовал себя чуть ли не собакой. Она же стала серьезна и печальна, потом покачала головой, словно бы услышала не в меру дерзкий вопрос, и руки в ответ не подала, вернулась в дом и тихо затворила за собою дверь. Я еще услышал, как щелкнул замок.

Я отвернулся и зашагал прочь, и хотя ничего почти не видел от слез и горести, мне все же показалось странным, что город вновь преобразился. Теперь каждый переулок, каждый дом и вообще все было точь-в-точь, как в давние времена, несообразности совершенно исчезли. Фронтоны были теперь не столь высоки и окрашены по-старому, и люди действительно те самые, они с радостным удивлением смотрели на меня, когда узнавали, иные и по имени меня окликали. Однако же я не мог ни ответить, ни остановиться. Во всю прыть спешил знакомой дорогой через мост вон из города и от сердечной боли видел все только сквозь слезы. Неведомо отчего мне казалось, что все здесь для меня кончено и я должен постыдно бежать.

Лишь потом, когда очутился за городом под тополями и волей-неволей приостановился, я вдруг осознал, что побывал на родине, возле нашего дома, а об отце с матерью, о братьях-сестрах, о друзьях и вообще обо всем даже не вспомнил. Сердце мое, как никогда, захлестнули смятение, горечь и стыд. Но воротиться назад и все исправить я не мог, ведь это был сон, и я проснулся.

– У каждого человека, – сказал Кнульп, – своя душа, смешать ее ни с какой другой он не может. Двое людей могут приходиться друг к другу, разговаривать друг с другом, находиться совсем рядом. Но души их подобны цветам, каждая приросла корнями к своему месту и не может прийти к другой душе, иначе бы ей пришлось покинуть свои корни, а это невозможно. Цветы источают аромат, рассыпают семена, ведь им хочется друг к другу; но для того, чтобы семя попало в нужное место, цветок ничего сделать не может, тут действует ветер, а он прилетает и улетает, как и куда заблагорассудится.

А позднее он добавил:

– Сон, который я тебе рассказал, пожалуй, имеет тот же смысл. У меня не было намерения обойтись с Генриеттой и с Лизабет несправедливо. Но оттого, что когда-то я любил обеих и желал ими обладать, они слились для меня в сновиденческий образ, который похож на обеих, но не есть ни та ни другая. Этот образ принадлежит мне, однако в нем уже нет ничего живого. Часто размышлял я и о своих родителях. Они считают, что я их дитя и такой же, как они. Но хотя я не могу не любить их, я все равно для них чужой человек, понять которого они не способны. Самое главное во мне, быть может как раз и составляющее мою душу, они полагают несущественным, относят за счет моей молодости или блажи. Притом они любят меня и желают мне только добра. Отец может передать в наследство ребенку нос, глаза и даже ум, но не душу. Она в каждом человеке новая.

На это мне сказать было нечего, ведь в ту пору я еще не задумывался о подобных вещах, во всяком случае по собственному побуждению. При этих философских мудрствованиях я вообще-то чувствовал себя неплохо, потому что сердца моего они не задевали и я мнил, что и для Кнульпа это скорее игра, чем борение. Вдобавок так мирно и хорошо было лежать рядом в сухой траве, ждать ночи и сна и наблюдать за ранними звездами.

– Кнульп, – сказал я, – а ты философ. Тебе бы профессором стать.

Он рассмеялся и, покачав головой, задумчиво обронил:

– Скорее уж мне впору в Армию спасения записаться.

Тут я не выдержал:

– Слушай, хватит мне голову-то морочить! Неужто ты еще и в святые податься надумал?

– Само собой. Каждый человек – святой, коли вправду серьезно относится к своим мыслям и поступкам. Раз считаешь что-либо правильным, так и поступай. И если я когда-нибудь сочту правильным записаться в Армию спасения, то, надеюсь, так и сделаю.

– Именно в Армию спасения!

– Да. И скажу почему. Мне довелось разговаривать с множеством людей и слышать множество ораторов. Я и священников слышал, и учителей, и бургомистров, и социал-демократов, и либералов; однако не нашлось ни одного, кто говорил бы с серьезностью, идущей от самого сердца, кому бы я поверил, что в крайнем случае он ради своей идеи пожертвует собою. А вот в Армии спасения, при всей их любви к песнопениям и шумихе, я уже раза три-четыре видел и слышал таких, что говорили по-настоящему всерьез.

– Почем ты знаешь?

– Это же видно. Например, один держал речь в деревне, воскресным днем, на улице, среди пыли и зноя, так что скоро совершенно охрип. Он и без того силачом никак не выглядел. И когда уже не мог вымолвить ни слова, попросил трех своих товарищей спеть, а сам тем временем глотнул воды. Полдеревни толпилось вокруг, стар и млад, и все над ним насмехались,

все корили. Молодой работник, стоявший в заднем ряду, с кнутом в руке, время от времени, чтобы досадить оратору, оглушительно щелкал этим кнутом, и все каждый раз хохотали. Но бедолага не осерчал, хоть был вовсе не дурак, смекал, в чем дело, пробился своим голосишком через этот спектакль, знай себе улыбался, когда кто другой ревмя бы ревел или бранился. Знаешь, ради жалкого заработка и ради развлечения этак не поступают, тут требуются большая внутренняя просветленность и решимость.

– Пожалуй. Но один не значит все. И человек тонкий и чувствительный вроде тебя в подобных затеях просто не участвует.

– Отчего же. Если он знает и имеет нечто много более ценное, чем вся тонкость и чувствительность. Конечно, всех одним аршином мерить нельзя, однако ж истина должна быть одна для всех.

– Ах, истина! Откуда известно, что как раз эти аллилуйшики владеют истиной?

– Это неизвестно, что верно, то верно. Но я всего-навсего говорю: если однажды я решу, что это истина, то последую за ней.

– Ну да, если! Ты ведь что ни день находишь какую-нибудь мудрость, а назавтра уже в грош ее не ставишь.

Он с удивлением посмотрел на меня:

– Ты сейчас сказал кое-что скверное.

Я хотел было попросить прощения, но он отмахнулся и умолк. А вскоре тихонько пожелал доброй ночи и спокойно улегся, только вряд ли сразу уснул. Я тоже был слишком возбужден и еще час с лишним лежал без сна, подперев голову руками и глядя на ночной ландшафт.

Утром я сразу увидел, что у Кнульпа нынче хороший день. Так я ему и сказал, а он посмотрел на меня сияющим детским взглядом и кивнул:

– Угадал. А знаешь, откуда у человека берутся такие вот хорошие дни?

– Нет, откуда же?

– Все оттого, что ты ночью хорошо выспался и видел прекрасные сны. Только помнить их незачем. Вот так нынче со мной. Мне грезилось что-то сплошь роскошное и отрадное, но я ничего не помню, знаю только, что было чудесно.

И еще прежде, чем мы добрались до ближайшей деревни и заморили червячка парным молоком, его приятный, легкий, беспечный голос успел одарить бодрящее утро тремя-четырьмя новенькими песнями. Записанные и напечатанные, эти песни, пожалуй, показались бы пустячными поделками. Но все-таки Кнульп был поэтом, пусть и не из больших, и, когда он сам пел свои песенки, они часто, словно пригожие сестры, ходили на иные из самых прекрасных. А отдельные строчки и строфы, которые мне запомнились, вправду превосходны, и я по сей день очень их ценю. Ни одна из этих песенок не записана, его стихи рождались, жили и умирали бесхитростно и беззаботно, как дуновения ветерка, но сколько же раз они скрашивали жизнь не только мне и ему, но многим другим, старым и молодым.

Оно появляется из-за леса,
Как нарядная барышня из ворот.
Так, заливаясь румянцем, невеста
Гордо к венцу идет⁹.

Вот так пел он тогда о солнце, которое упоминал и славил в своих песнях почти всегда. И странное дело, хотя в разговоре ему никак не удавалось отрешиться от философствования, стишки его отличались редкостной свежестью и непритязательностью, похожие на опрятных

⁹ Перевод Э. Венгеровой.

ребятишек в светлых летних платьях, что весело скачут вокруг. Нередко они бывали просто забавны и служили затем только, чтобы дать волю шаловливому задору. В тот день он заразил меня своим настроением. Мы приветствовали и поддразнивали всех встречных, так что вслед нам то хохотали, то бранились, и весь день прошел будто праздник. Мы рассказывали друг другу о проделках и шутках школьной поры, придумывали забавные прозвища мимоезжим крестьянам, а часто и их лошадям и волам, обедались у какого-нибудь уединенного садового забора ворованной ежевикой и сберегали силы и подметки башмаков, чуть не каждый час устраивая привал.

Мне казалось, за все время нашего еще не долгого знакомства Кнульп никогда не бывал таким замечательным, милым и общительным, и я радостно предвкушал, что с сегодняшнего дня по-настоящему начнутся наша совместная жизнь, странствие и веселье.

К полудню стало душно, мы больше лежали в траве, чем шли, а под вечер предгрозовая мгла и духота еще сгустились, и мы решили поискать себе на ночь убежище под крышей.

Кнульп мало-помалу притих и приустал, но я этого толком не замечал, ведь он по-прежнему от души смеялся вместе со мной и часто подхватывал мои песни, самому же мне удержу не было, снова и снова в сердце яркими кострами вспыхивала радость. С Кнульпом, пожалуй, все обстояло иначе, праздничные огни в нем уже начали гаснуть. Для меня тогда было в порядке вещей, что в радостные дни я ближе к ночи становился только веселее и никак не мог утомиться, нередко после ночных развлечений часами бродил один по окрестностям, когда других давным-давно сморили усталость и сон.

Радостная вечерняя лихорадка обуяла меня и в тот день, и, когда мы спустились в долину к большой деревне, я радовался веселой ночи. Сперва мы подыскали ночлег – стоявший на отшибе, легкодоступный сарай, а потом отправились в деревню, напрямик в трактир с прекрасным садом, ведь я пригласил друга на ужин и намеревался угостить его омлетом и парой бутылок пива по случаю столь радостного дня.

Кнульп охотно принял приглашение. Но когда мы уселись за столик под раскидистым платаном, он немного смущенно сказал:

– Знаешь, давай не будем устраивать попойку, а? Бутылочку пива я, конечно, осушу, это приятно и в охотку, но больше не стоит.

Перечить я не стал, только подумал: «Сколько захочется, столько и выпьем». Мы ели горячий омлет с темным ржаным хлебом, очень свежим и душистым, и вскоре я заказал себе вторую бутылку пива, тогда как Кнульп и первую выпил только до половины. Сидя за по-барски обильным столом, я чувствовал себя превосходно и рассчитывал еще продлить это удовольствие.

Допив свое пиво, Кнульп, несмотря на мои уговоры, вторую бутылку заказывать не стал, предложил мне прогуляться по деревне и пораньше лечь спать. У меня были совсем другие планы, но возражать не хотелось. А поскольку моя бутылка пока не опустела, я согласился, что он пойдет вперед, а после мы уж где-нибудь встретимся.

И он ушел. Я проводил его взглядом: неспешной, вальяжной прогулочной походкой, с астрою за ухом, он спустился по ступенькам на широкую улицу и тихонько зашагал по деревне. Сожалея, что он не распил со мной еще бутылочку пива, я все-таки с симпатией и нежностью подумал: «Душа-человек!»

Солнце уже село, но и после заката духота только усиливалась. В такую погоду я любил спокойно посидеть за прохладным вечерним напитком, оттого и хотел покамест задержаться под платаном. Посетителей, кроме меня, почти не осталось, времени у подавальщицы было полным-полно, и она завела со мной разговор. По моей просьбе она принесла две сигары, одну из которых я первоначально предназначал для Кнульпа, но потом по забывчивости выкурил сам.

Этак через час Кнульп вернулся, думал увести меня. Однако я уходить не пожелал, а так как он устал и хотел спать, мы договорились, что он отправится на место ночлега и ляжет. И он ушел. Подавальщица же тотчас принялась расспрашивать меня о нем, так как он неизменно привлекал внимание всех девушек. Я охотно отвечал, ведь он был мне другом, а с нею меня ничто не связывало, вот я и расхваливал его, даже сверх меры, – мне было хорошо, и я всем желал добра.

Вдали загремел гром, листва платана легонько зашелестела на ветру, когда в поздний час я наконец-то покинул трактир. Расплатился, дал девушке десять пфеннигов на чаек и неспешно зашагал по дороге. На ходу я чувствовал, что выпил лишнюю бутылку, в последнее-то время вообще в рот не брал горячительного. Правда, меня это лишь забавляло, ведь я, выходит, малый не промах, и всю дорогу я негромко напевал, пока не отыскал наш ночлег. Тихонько вошел внутрь – Кнульп в самом деле спал. Лежал в одной рубашке на своей коричневой куртке и ровно, спокойно дышал. Лоб, открытая шея и рука, откинута в сторону, смутно белели в тусклом полумраке.

Не раздеваясь, я тоже лег, но возбуждение и хмельная голова не давали мне покоя, лишь на рассвете я наконец уснул глубоким свинцовым сном. Да, сон был крепкий, но дурной, тяжелый, утомительный, полный неясных мучительных видений.

Наутро я проснулся поздно, уже в разгар дня, яркий свет резал глаза. Голова была пустая, мутная, во всем теле усталость. Я долго зевал, тер глаза и расправлял плечи так, что суставы хрустели. Но, невзирая на усталость, во мне еще сохранился отзвук вчерашнего настроения, а небольшое похмелье я рассчитывал выполоскать у ближайшего чистого колодца.

Однако вышло совсем иначе. Глянув по сторонам, Кнульпа я рядом не увидел. Поначалу ничего не заподозрив, я и кричал ему, и свистел. Но когда зовы, свист и поиски оказались безрезультатны, я вдруг осознал, что он покинул меня. Да, ушел, тайком ушел, не хотел более оставаться со мной. Может, ему стало тошно от моих вчерашних возлияний, может, нынче он устыдился собственной вчерашней бесшабашности, а может, все дело просто в капризе, в сомнительности моего общества или во внезапной потребности побыть одному. Хотя, наверно, виновато все-таки мое вчерашнее пьянство.

Радость как ветром сдуло, стыд и печаль захлестнули все мое существо. Где же теперь мой друг? Наперекор его утверждениям, я полагал, что немного понимаю его душу и принимаю в нем участие. И вот он ушел, оставил меня одного, совершенно разочарованного, и винить я должен больше себя, нежели его, и мне самому предстоит теперь изведать одиночество, в котором, по мнению Кнульпа, живет каждый и в которое я верить никак не хотел. Оно было горьким, причем не только в тот первый день, и хотя иной раз светлело, но с тех пор уже меня не покидает.

Конец

Был светлый октябрьский день; в легком, напоенном солнцем воздухе короткими порывами играл прихотливый ветерок, с полей и из садов тонкими, неспешными клубами тянулся сизый дымок осенних костров, наполняя сквозистый ландшафт пряно-сладким запахом сожженной травы и свежей древесины. В деревенских садах цвели яркие кусты астр, блеклые поздние розы и георгины, а возле заборов тут и там еще выглядывали из пожухлой, беловатой травы огненные настурции.

По проселку, ведущему в Булах, неспешно катил одноконный экипаж доктора Махольда. Дорога плавно поднималась в гору, слева виднелись жнивье и картофельные поля, где еще собирали урожай, справа – молодой сосняк, частый, почти непролазный, бурая стена притиснутых друг к другу стволов и сухих ветвей, почва сухая, однотонно-коричневая, усыпанная толстым слоем высушенной хвои. Дорога уходила прямо вперед, в нежно-голубое осеннее небо, словно там наверху мир заканчивался.

Доктор свободно держал вожжи в руках, и старая лошадка шагала как вздумается. Махольд возвращался от умирающей, которой уже нельзя было помочь, но она до последнего часа крепко целялась за жизнь. Он устал и наслаждался неторопливой ездой и погожим днем; мысли его уснули и сквозь легкую дремоту безвольно внимали возгласам, доносившимся из духовитого запаха полевых костерков, – неясные, приятные воспоминания об осенних школьных каникулах и о еще более далеких временах многозвучного, расплывчатого сумрака детства. Вырос-то он в деревне, и его чувства уверенно и охотно вбирали все сельские приметы этой поры года и ее трудов.

Он почти уснул, но от внезапной остановки пробудился. Дорогу пересекала промоина, в которую и уткнулись передние колеса, а лошадь с радостью остановилась, опустила голову и в ожидании наслаждалась передышкой.

Когда экипаж резко замер, Махольд встрепенулся, собрал вожжи в кулак, улыбнулся, еще не вполне стряхнув дремоту, окинул взглядом лес и небо, по-прежнему солнечные и ясные, и привычно прищелкнул языком, побуждая лошадь продолжить путь. Затем выпрямился, поскольку спать днем не любил, и раскурил сигару. Экипаж неторопливо покатило дальше, две женщины в широкополых шляпах высунулись из-за длинной вереницы мешков с картошкой, поздоровались.

Вершина была уже близко, и лошадка подняла голову, взбодрившись и с надеждой ожидая, что уже скоро побежит вниз по склону родного холма. И тут впереди, на светлом горизонте, возник человек, путник, секунду он стоял свободный, высокий, объятый лазурью, потом стал спускаться и сделался серым и маленьким. Мужчина подходил все ближе, худой, с небольшой бородкой, в потрепанном платье, явно привычный бродить по дорогам; шагал он устало, с натугой, однако учтиво снял шляпу и пожелал доброго дня.

– И вам доброго дня, – отвечал доктор Махольд, провожая взглядом незнакомца, уже прошедшего мимо, и вдруг осадил конягу, привстал, посмотрел назад поверх скрипучей кожаной крыши и окликнул: – Эй, послушайте! Можно вас на минутку?

Запыленный путник остановился. С легкой улыбкой взглянул на доктора, опять отвернулся, словно бы в намерении идти дальше, но потом все же передумал, послушно пошел обратно.

Сейчас он стоял подле низкого экипажа, со шляпой в руке.

– Далеко ли путь держите, коли не секрет? – воскликнул Махольд.

– Куда дорога ведет, в сторону Берхтольдсэгга.

– Сдается мне, мы знакомы, а? Только я никак не вспомню ваше имя. Вы-то ведь знаете, кто я?

– Полагаю, вы – доктор Махольд.

– Ну так как? А вы? Как вас зовут?

– Вы, господин доктор, определенно меня знаете. Когда-то мы сидели рядом в классе учителя Плохера, и вы, господин доктор, списывали у меня латинские упражнения.

Махольд быстро соскочил наземь, посмотрел путнику в глаза. Потом, смеясь, хлопнул его по плечу:

– Точно! Стало быть, ты – достославный Кнульп, и мы – школьные товарищи. Дай же пожать тебе руку, старина! Мы ведь определенно лет десять не виделись. Все еще странствуешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.